

Змеелов / повесть

Category: Kitarcy, Powestler

написано kitarcy | 22 января, 2025

Змеелов / повесть ЗМЕЕЛОВ

1.

Скорый поезд из Ашхабада, неся на вагонах пыльную окалину пустыни, медленно завершал свой долгий путь у перрона Казанского вокзала. Еще не встал состав, а уже дохнуло откуда-то арбузом. И песочек этот, прильнувший к вагонам в Каракумах, уже вплелся в московский ветер, незнакомо-колко скользнув по лицам встречающих. Трудный путь завершал поезд, устал.

И люди, ехавшие в нем, устали. Они выходили из вагонов без особой живости, как это бывает, когда подкатывают близкие поезда. Они выходили, пригнутые поклажей, обвешанные ранними дынями и арбузами, с впившимися в руки веревками, которыми были обвязаны щелястые ящики с громадными помидорами, с молодым розовым виноградом. Уже весь перрон пах дынями, виноградом, мускатным, терпко-винным, и особенно сладко-пронзительно пахла сушеная дыня, обмереть можно было от запаха кем-то оброненного расколовшегося арбуза. Казанский вокзал ненадолго стал ашхабадским базаром, вот только гор за домами не было видно и люди тут были не гомонливы, даже те, кого встречали. Их истомил знойный путь и испугал московский зной – они ведь рвались на Север.

В числе первых, сошедших на перрон, был мужчина, почти не обремененный поклажей: маленький чемоданчик с притороченной к нему небольшой дыней – и все. С такой поклажей лететь надо, а не влачиться через Туркмению в конце июня, когда там местами спекается земля.

Приезжий знал дорогу, уверенно вошел в туннель, ведущий в метро. Приезжему было лет сорок, но, может быть, и больше, а может быть, и меньше. Его старило обожженное солнцем лицо. Его молодило то, как он легко шел, помахивая чемоданчиком, как прямо держался, вдруг удивленно, жадно взглядывая, будто узнал

кого-то. На нем был немилосердно выгоревший костюм, когда-то очень хороший. Он был высок, худ, у него были сильные плечи, и сильны были его коричневые руки в грубых, будто рваных шрамах, даже издали приметных.

В вестибюле метро приезжий остановился, медленно повел глазами по сводам. Он узнавал, глаза узнавали, он сейчас себя узнавал – здесь, себя давнишнего, из былой жизни. Конечно, это был не приезжий, это был возвращающийся домой человек.

Вспоминая Москву, далеко, очень далеко от нее отъехав, он вспоминал, не неволя себя, покоряясь памяти, которая водила его по совсем неожиданным местам, не обязательно главным в его московской жизни. И метро конечно же было для него не главным, он редко ездил в метро, особенно в последние годы. А вот память все время водила его по этим станциям, давним, из первых. Наверное, потому, что они напоминали молодость. На «Комсомольской», в этом зале для празднеств, он назначил раз свидание. А она не пришла. Ее забыл, а что не пришла – помнил. Обиду ту молодую помнил, даже запах у той обиды был. Пахло мокрыми тряпками и опилками, потому что где-то рядом, почти касаясь его ног, женщина в синем халате протирала обмотанной тряпкой щеткой мраморный пол. Сутулую спину этой женщины вспомнил – вот сейчас, здесь, когда остановился, озираясь. И почему-то как о приятном вспомнилось, что та девушка, которую забыл, не пришла. Приятна была острота той боли, того мучительного ожидания, почти отчаяния. Так чувствовать теперь он не мог.

Пока ехал в вагоне до станции «Охотный ряд» – в памяти у него укоренились старые названия, – безмыслие жило в нем. Столько раз, думая о возвращении в Москву, он проезжал этот путь, стоял вот тут, в углу вагона, раскачиваясь вместе с ним. Он – здесь, его качает, стены туннеля слились за стеклами, он в Москве, он вовнутрь ее проник, вокруг люди, женщины, он слышит московский особенный говор, самоуверенный и на «а», он ловит ноздрями горьковатый запах метро, по которому тосковал – столько было всего, о чем тосковал! – и ни единой мысли в голове. И радости никакой, отлетела вдруг радость. Она стала покидать его еще в поезде, когда потянулись за окнами

узнаваемые, памятные московские пригороды. Состав тормозил, подолгу стоял у семафоров, выбившись из графика, а он был рад этим остановкам, один, наверное, во всем поезде был рад, что поезд тормозит, плетется, медлит.

А так рвался в Москву все пять лет. Каждый день, каждый час, даже во сне. Сперва рвался, чтобы поквитаться, для драки. Было с кем. Потом остыл, крепко остыл под палящим туркменским солнцем, а может быть, поумнел, а ум ценит тишину в душе, и из тишины этой стал думать о Москве уже по-иному, все чаще вспоминая свою молодость, ту Москву, из той поры, до крушения, и рвался в нее, туда, назад. Добрые сны были о давнем, когда кошмарил, вспоминалось недавнее.

Он вышел на платформу «Охотный ряд», чтобы очутиться у гостиницы «Москва», на серединном, центральном этом месте города, откуда видна была Красная площадь, уходила вверх улица Горького, вставал перед глазами Манеж. Тут тоже памятное место – у выхода на Манеж. Тут тоже назначил он однажды свидание. Условились, десять раз сказав: «Лицом к Манежу». Вышел, узрел Манеж, как вот сейчас, а ее не было. Ту женщину он помнил, она вошла в память, с ней многое потом длилось. А тогда ее не было. И быть не могло. Улица Горького в тот вечер была закрыта для прохожих в этом месте, так как тут, где Манежная площадь и улица Горького, слившись, втекают в Красную площадь, стояли войска, репетировавшие парад. Где было ее искать, у какого выхода? Избегался, но не нашел. Безмыслие кончилось, когда вспомнил тот день далекий, и снова обрадовался тому дню, вспомнив, как бегал от выхода к выходу, как мчался по эскалаторам вверх-вниз, приподнимаясь на носки, подпрыгивая, чтобы дальше видеть. Утрата, горе, настоящее горе – так это ощущалось тогда, а было радостно про это вспоминать.

Вот он, Манеж, вот Красная площадь, улица Горького. Вернулся к своим снам. Память наша быстрее всех скоростей. Стоя здесь, на ступенях гостиницы «Москва», он прыгнул глазами в утлый домик, как бы присевший под убийственным солнцем, домик в обступе деревьев, но и в нескольких шагах от барханных волн пустыни. Там-то и снились ему эти купола, Манеж, гостиница «Националь»,

серый куб телеграфа, и не верилось, что он жил в этих стенах. Сны потому и сны, что не явь. А явью для него стали змеи, ибо в этой жизни, поселившей его в домике на краю пустыни и на краю притихшего в субтропическом зное городка Кара-Кала, он был змееловом. Гюрзы, кобры – они никогда не снились ему, на них обрывался всякий сон. Лишь тень от них падала на сон, как он просыпался, выпрастывая руки, чтобы схватить, прижать, сунуть в мешок. Он скоро научился не бояться змей, не очень бояться, но только нельзя спать, когда они появляются, вот уж спать тут нельзя. И он научился не пускать их даже в свои сны. Приехал. А зачем? А к кому? Москва была полна друзей, ну, пусть не друзей, приятелей. В Москве был его дом, ну, пусть теперь не его, но там жил его сын – это уж было не отнять. Так он к сыну приехал? Но бывшая жена просила не появляться: она вышла замуж, бывшая жена, у мальчика вот уже четыре года был другой отец, к которому следовало мальчику привыкнуть, поскольку следовало мальчику отвыкнуть от человека, который не заслужил быть ему отцом. Родная кровь? Это все пустое. Что похож на него, еще тогда был похож, в свои шесть лет, до изумления, до умиления, – и это пустое. Одно всего получил он от жены письмецо, когда отбывал срок. Это было даже не прощальное письмо, а разрывное. И там и было обо всем этом изложено, чтобы забыл о сыне, чтобы и не писал и не появлялся, когда выйдет на свободу, дабы не травмировать душу ребенка. Запомнился почерк жены в этом письме, которое искрошил в пальцах. Он не знал, оказывается, как пишет его жена, а она писала, как девочка, как старательная школьница, кругля буквы, ставя запятые с явным избытком, на всякий случай. Ему был неведом ее почерк: поженились без писем, разлучаясь ненадолго, обменивались телеграммами. А жаль, что ни единого письмеца он от нее не получил в пору, когда началось у них – что началось? любовь, что ли? – когда, словом, он решил взять в жены эту статную, с русой косой молодую продавщицу из отдела спортивных товаров, такую неожиданную среди аляповатого спортивного инвентаря, такую из былых, благонадежных времен, чистенькую, ухоженную, полнокровную, не болтливую. Будет хорошей матерью моим сыновьям – решил. Не испорченная – решил.

Он тогда верил в свое умение разбираться в людях. С первого взгляда. Вообще шибко верил в себя. Он тогда даже не шел вверх, а взлетал. В двадцать восемь был заместителем директора крупного гастронома, в тридцать два стал директором. И слухи, слухи каждый день нарождались, что ему и повыше место прочат. Он знал: прочат. Друзей было – вся Москва. Нет, он не обольщался, не дураком все же был, знал, что большинство этих друзей не столько к нему тянутся, сколько к его директорским возможностям, но все-таки были ж и истинные друзья, ведь были же? Когда попал под следствие, разом обмелело озеро дружбы. Когда посадили – дно каменистое у того озера открылось. Когда осудили, и дружеского ручейка среди камней не уцелело. Потом, там, в Кара-Кале, видел он такие озера по весне, которые за день-два иссыхали под палящим солнцем. Но может, не там он искал своих друзей? В пустыне, даже в зной, под иным камнем, когда отворишь его, хранится влага. Там и в адов зной жизнь живет. Это он углядел и к этой жизни проникся уважением. Красоты в ней не было, была стойкость.

Так к кому прикатил? Зачем он здесь? Затем, чтобы постоять на этих ступенях, поглядеть на эти старые стены, куполам этим поклониться, которые погорше знали судьбы, чем его судьба, занесшегося, забывшегося, зарвавшегося человека, а ныне – притихшего, поумневшего – поумнеешь! – задумавшегося?

Он так рассчитал, беря билет, чтобы поезд из Ашхабада привез его в Москву в воскресенье. Конечно же был у него кой-какой план, к кому толкнуться в первый день приезда, застать, если повезет, дома. Глаза в глаза хотелось встретиться. Из всех друзей из прошлого выбрал он двоих, только двоих, веря нетвердо, что они его приветят. Он ни с кем не переписывался в эти годы, писал лишь сестре, которая жила в Дмитрове, звала к себе. От Москвы до Дмитрова недолог путь, но это уже запасной вариант, пристанище на самый крайний случай. Не верилось, что во всей громадной Москве не найдется ему места.

У него сохранилась толстая записная книжка, заполненная фамилиями и телефонами, как какой-нибудь городской справочник. Выпускались когда-то в Москве такие – справочники и так и назывались: «Вся Москва». Вот из этой «всей Москвы» два

адреса, два имени еще продолжали светиться для него надеждой. Константин Бугров, просто Костик, с которым вместе кончал Плехановский, но только тот на троечки, а он на пятерочки, который так на троечках и дальше зажил, без взлетов, но и без срывов. Бухгалтерствовал в каком-то тресте с многобуквенным, не выговорить, названием. Наверное, и сейчас в том же тресте, за тем же делом – смолоду старичок. Но добрый старичок. Отзывчивый. Влюбленный во всех своих однокурсников и однокурсниц. Собиратель их всех по каким-то там лишь ему памятным табельным институтским датам.

Нет, сперва не к нему. Сперва к человеку острому, злому, недоверчивому, хваткому, из бывалых разбивалому. Об этого человека можно удариться, как об стену. Но он может и пустить к себе, может обернуться добрым, сочувствующим. А уж поймет все. Их связывали когда-то общие дела, но связи эти не были прослежены. Этот человек умел рубить концы. Совсем не лучший из его бывших друзей, чуть ли не самый темный, но вот в него все же верилось. Не хлипкий был человек, не трусливый, не увертливый. Сперва к нему, к Петру.

2.

Медведково. Проезд Шокальского. А потом до десятка одинаковых домов, разбросанных на участке так, как бы это мог сделать ретивый малыш, которому наскучили его кубики. Отшвырнул рукой, отшвырнул ногой. Оказывается, малыш-то был архитектором. Это он не шалил, а так представлял некий микрорайон, некое организованное пространство. Да и малышу этому, наверное, было лет за пятьдесят, и был он руководителем архитектурной мастерской, ведавшей застройкой сих мест. Найти нужный дом среди этих кубиков было делом непростым. В адресе, который он отыскал в своей записной книжке, значился и номер дома, и номер корпуса, а вдобавок какие-то были еще указания, куда свернуть, что где на стенах прочесть, какому цвету стен верить. Он бывал в этом доме, где жил Петр Григорьевич Котов, раз десять, знал все подходы к нему, но, как в барханах, чуть углубись в них, сразу же заплутался здесь в похожих, как

гребни барханов, стенах. Там, в пустыне, он довольно скоро научился запоминать приметы – чахлый кустик какой-нибудь, сохлая ветвь саксаула, ювелирно обглоданная кость, которые вели его, выводили. Здешние приметы позабылись, скрылись за своей одинаковостью. Он долго блуждал от торца к торцу, на которых были крупно выведены номера корпусов, прежде чем нашел тот, что был ему нужен. Глазами он этот дом не узнал – за пять лет каким-то другим стал этот дом, не постарел, рано бы вроде, но потускнел, обжился. Про женщин говорят – обабилась, про мужчин – заматерел. Про этот дом, пожалуй, можно было сказать, что он обтек, а еще точнее – поник.

Вот в этом поникшем доме, хотя достаточно еще представительном, длинном и многоэтажном, в его четвертом подъезде от края, в квартире на первом этаже, как войдешь по правую руку, и жил Петр Котов.

Вошел в подъезд и остановился. Что ждет его за этой дверью с тоже потускневшей обивкой? Медные шляпки нарядных гвоздей раньше блестели, теперь не блестят. Откуда он взял, что за пять лет ничего не переменилось у Котова? Дом вот – бетон и железо, и тот переменился. Испугала эта потускневшая обивка. Надо было написать все же. Но можно и позвонить. Мол, приехал, нахожусь тут поблизости. А как же тогда с желанием нагряться и встретиться глаза в глаза? Это было яростное желание, выношенное там, под солнышком, которое жгло близко к ста градусам. Нет, глаза в глаза! Уж какие мы есть! Он резко нажал на дверной звонок. Да что там, как ни жми, звонок этот по-дамски пролопотал что-то уютное, мелодичное. И на звонок откликнулись не сильные шаги – Котов сам всегда открывал, – а шарканье тапочек. Но дверь отомкнули сразу, а Котов не сразу открывал, принимал сперва к глазку. Раньше тут сторожились, теперь не сторожатся. Не съехал ли?

Отворилась дверь, незнакомая женщина в белом халате стояла перед ним. Какая-то без возраста, без цвета. Главным был в ней запах, она вся пропахла, пропиталась запахами лекарств, она была, как валерьяновый корень, если его потереть пальцами и втянуть в себя воздух.

Он пробормотал, приюхиваясь, оробев, изверившись в своей

затее, но узнавая по верх головы женщины мебель в прихожей, узналась и зимняя шапка Петра – богатый пыжик, почему-то оставленный и на лето рядом с летней задиристой кепочкой.

– Я к Петру Григорьевичу... Он дома?

– Где же ему быть?

Теперь не только от женщины наплывал лекарственный запах, а отовсюду он наплывал – из коридора, из-за неплотно прикрытой двери в комнату, Петра комнату. Болен! Лекарства пахли дорогой вонью, незнакомой. То была зловещая, опасная вонь, так воняет беда.

– Кто ко мне? – слышался голос Петра Григорьевича, его голос, без обычного напора, но его, его голос. Отлегло! Ну, болен, с кем не бывает. А лекарства такие, потому что богат, потому что все может достать – из заморщины, хоть с самой Луны. Тогда мог и теперь может.

– Это я, Петр Григорьевич! Павел Шорохов! – Он кинулся к двери, распахнул, увидел с порога и близко Петра, высоко лежащего на подушках, его глаза – вот они! – но то были не его глаза, не Петра, у того таких глаз, таких громадных в пол-лица глаз сроду не было, и не сумел, не решился, не получилось у него в них взглядеться.

– Ждал. Входи. Уведомлен, что срок тебе срезали за хорошую работу. Еще год назад. А где пропадал этот год? Я ждал тебя.

– В Кара-Кале. Это в Туркмении.

– Тихо небось там, в этой Кара-Кале?

– Тихо.

– Хорошо. Чего лучше, когда тихо. И тебя, значит, на тишину потянуло?

– Потянуло заработать перед Москвой.

– Что же там, в Кара-Кале, золото нашли? Уран?

– Нет, там змей отлавливают. Кара-калинский серпентарий. Не слышали?

– Слышал. Забыл. И кем ты там?

– Змееловом.

– Павел Шорохов – змеелов? Думал, больше ничему не удивлюсь, а вот ты меня, Паша, удивил. Чем это тут запахло так хорошо? А, дыня у тебя. У нас с рынка дыни не пахнут почти. Их для

продажи на химии растят. Громадные выходят, но без вкуса, без запаха. А кому печаль? Лишь бы продать, схватить побольше. А ты, Паша, из своей тишины, от таких вот райских дынь, от змеек своих бесхитростных прикатил в Москву. Виноват, тут сын у тебя, виноват.

Пообвык немного Павел, стал поглядывать на это лицо, ополовиненное глазами. А голос и совсем был почти тот же, все та же усмешечка в нем жила, про что бы ни говорилось.

– Лена! – позвал Котов. – Мне бы кусочек дыни! Можно?

– Все вам можно. – Женщина вошла, приняла из рук Павла дыню и вышла, оставив после себя лекарственный шлейф.

– Вот медицинскую сестру ко мне приставили. А из больницы я сбежал. Поверишь, не думал, что столько там жулья. Врачи тебя пугают, чтобы побольше содрать. Лекарство наинovelейшее достал, так его подменяют, перепродадут. Ну, чистая психотерапия. Сбежал. Профессура и сюда может подъехать, если соответственно вознаградить. А мне не жаль, берите, но только голову не задуривайте. Ну, грыжа, знаю, что грыжа. Помнишь, я бился на мотоцикле лет с десять назад? Вот с той поры. Дурак, конечно, не придал значения. – И вдруг стоном: – Ах, какой дурак! Господи, какой дурак! От пустяковой тогда операции отказался! – Напрягся, сжался, прихватывая свой крик: – Все, все об этом, все, все. Ну, так что же мы с тобой делать будем? Вернулся? По новой начнешь? Возьми там в баре коньячку, выпей. Мне нельзя, давно нельзя, но смотреть люблю. Сейчас распоряджусь, чтобы накормили тебя. Сейчас и жена здесь будет – привезет очередного профессора. Ну, Паша, вот это люди! Куда нам! Садись, бери бутылку, рюмку и подсаживайся поближе. Так ты, стало быть, змеелов? Это что же? Как же? Хвать – и в мешок? Риск велик?

– Достаточен.

Верно, хорошо бы сейчас выпить, в самый раз бы выпить. Жаль, что коньяк предложен, стакан бы водки. Павел подошел к инкрустированному серванту, за стеклами которого в большой тесноте жили принцы и принцессы хрустальных, фарфоровых, серебряных королевств. В другом бы доме и один такой бокал был бы украшением всей комнаты, предметом особой гордости хозяев,

а тут таких предметов было навалом. Эта выставка богатств была не нова в доме Петра Григорьевича, но приметно побогаче стала, иного разбора, утончились хозяева. Квартира все та же, стены те же, но вещи проникли сюда иные, другого, что ли, сословия. Из купечества как бы во дворянство шагнули. Многого достиг за пять лет Петр Григорьевич. И, похоже, не таится, демонстрирует даже.

– Ну, ну, оглядывайся, оценивай, – услышал Павел за спиной. – Но только не завидуй. Все бы отдал, чтобы змееловом стать. Откуда шрамы на руках? Урки?

– Нет. – Павел вернулся к тахте, поставил на столик у изголовья бутылку, две рюмки, налил себе, налил Петру Григорьевичу.

– Молодец, смекалка с тобой. Хоть и нельзя мне пить, а рюмку наполнить надо. Больные народ обидчивый, мнительный. Молодец, спасибо. Так откуда шрамы? Ну и резанули. Без пощады.

– Здесь сам резанул. Укус фаланги, майской, тут медлить нельзя. Полоснул, отсосал. А в палец гюрза укусила. Когда только начинал. Спасибо Бабаш рядом оказался. Рванул ножом по пальцу, спас.

– Что за Бабаш?

– Директор змеепитомника. Это по должности.

– А не по должности?

– Удивительный человек.

– Понял, ясно объясняешь. Ну, пей, терпезу нет. Поехали! – Петр Григорьевич выпростал из-под простыни, которую до того придерживал у подбородка, руку, исхудалую, не свою будто, пожелтевшими пальцами нежно обхватил рюмку, приподнял. – Будь! С возвращением!

Павел выпил.

– Повтори!

Павел налил и снова выпил. Коньяк был маслянистый, легко проглатывался, незнакомым и пустяковым показался напитком. Отвык от этой французской дребедени. Про это и сказал, облегченно вздохнув:

– Пустяковый все ж таки напиток. Легковатый.

– Вот, вот, в этом и смысл. Полегчало? А то, смотрю, испугался

за меня. Ничего, выпрыгну. Как думаешь?

– Вам ли не выпрыгнуть.

– Верю, что веришь. Попробую, попытаюсь. Мне, знаешь ли, лекарства из Швеции, из Югославии самолетами доставляют. Неужели во всем мире нет лекарства, чтобы с моей грыжей не совладало? Достану! Куплю!

Вошла сестра, неся на тарелке крошечную дольку дыни, аромат которой, как тонким лезвием, прорезал воздух, лекарственное это удушье, и посулил надежду.

– Вот оно – чудо! – У Петра Григорьевича затряслись пальцы, когда брал дыню. – Поправлюсь, уеду в твою Кара-Калу! Не шутя говорю, уеду. Тишина, такие дыни...

– Вот еще помидоры. – Павел торопливо открыл чемодан, вынул, поднял на ладони громадный помидор, сразу же тоже заявивший себя терпким, сильным, на земле и солнце настоящим запахом.

– Можно, Лена?! – взмолился Петр Григорьевич. – Вот оно – чудо!

– Вам все можно, – сухо сказала сестра и унесла помидор.

– И верно, отчего нельзя, если душа просит. С душой надо советоваться медикам, взглядеться больному в душу, а тогда уж лечить. – Петр Григорьевич руку вскинул, когда произносил эти слова, веруя произносил. Но тут же сам себя и опроверг, усмешливо покривив губы: – Да только где она, эта душа, где? Как ее ухватить, Паша? Ты свою нащупал, беседуешь с ней?

– Нет.

– Ты какой приехал? Злой? Смирный? Счеты будешь сводить? Или простил? Меня простил?

– У меня к вам претензий нет.

– Ну-ну. Должны быть. Ты загремел, а я даже в свидетелях не побывал. Должны быть. Да какой спрос с больного! Верно, какой с меня спрос? Но я тебе помогу, Паша. Деньгами...

– Деньги у меня есть на первое время.

– Будешь жить пока у меня. В комнате сына. Он в армии. Там, правда, мой мотоцикл стоит. Отодвинешь его к стеночке. Да, вот так, отдал сына в армию, не стал ходы искать. Может, чему и обучит эта армия, пока отец болеет. В отца сын. А когда сын в такого отца, как я, отцу болеть нельзя. Что там, в

Афганистане, ты ведь из тех мест?

– Кара-Кала на иранской границе. Там, как обычно, пограничники.

– Трудная служба? Жара, змеи вот. Еще зашлют парня в твою Кара-Калу.

– А сами собрались туда ехать.

– Я – другое. Мне – доживать. Ладно, хватит обо мне. Когда сына собираешься наведать?

– Мне отписано, чтобы исчез из его жизни.

– Гляди! Какая бабеночка была робкая, уютная. Ох, бабы!

– Она вышла за другого.

– Знаю. Ох, бабы, бабы! Из нашего профсоюза паренек, но какой-то никакой. Этот бы ножом себя по руке не полоснул, а уж в змееловы бы и подавно не сунулся.

– На сына все же взгляну. Хоть издали.

– Учти, сыну твоему помогали.

– Кто?

– Неважно. А она брала. Регулярно. Учти.

– Мне сестра посылала посылки все четыре года. Щедрые посылки. С ее-то зарплатой. Вы?

– Правильно, что помогала. Сестра, родная кровь.

– А ей помогали вы, так?

– Неважно, неважно, Паша. Мой тебе совет: встанешь на ноги, отбери сына.

– Думал об этом.

– Ты за эти пять лет, наверное, обо всем подумал. Сейчас здесь придется передумывать. Жизнь не обдумаешь. Человек предполагает, а бог располагает. Выпей-ка еще, и я с тобой... мысленно. Лена, где тот помидор? Тащи угощение!

Вошла Лена, неся на тарелочке крошечный ломтик помидора.

– А ему? Да не чинись ты, сестра милосердная. Ну, поухаживай за молодым человеком, окажи милосердие. Как же пить без закуски?

– Мне ничего не нужно, – сказал Павел.

– Мне нужно. В моем доме пьешь. Лена!

– Сейчас принесу. Может, отдельно пообедаете? Больные не всегда любят, когда рядом с ними едят.

– А я люблю.

– Да мне ничего не нужно, я сыт.

Сестра ушла, снова оставив после себя лекарственный шлейф и еще какое-то сродни запаху неудовольствие, которое исходило от нее, поскольку больной явно вел себя не по правилам.

– Уколы делает замечательно, – сказал Петр Григорьевич. – Рука крепкая, а душа добрая. Представляешь, девица.

– Точно установлено?

Впервые они рассмеялись, к мужскому потянувшись беседованию, когда вот коньячок на столе. Павел снова налил себе, хотя пить ему не хотелось. Не так, не с того все у него в Москве начиналось. К разному был готов, но не к поверженному этому человеку, к этой больнице на дому. Помнится, зарекался, что пить вообще не будет первое время в Москве, ясную сбережет голову. А только вошел в первый дом – и сразу за коньяк. И весь план разговора с Петром Григорьевичем – а план был – порушился. Так, глядишь, все и пойдет наперекосяк.

– Больше не пей, раз не хочешь, – сказал Петр Григорьевич. – И мне расхотелось. Что же, на новый виток пойдешь по старой дорожке или какую-то новую для себя жизнь наметил?

– Много чего наметил, мало чего могу. Надо начинать работать. А что я умею? Змей ловить в Москве негде. Экономист без права финансовой ответственности никому не нужен. В приказчики, может? Но тут тоже надо, чтобы захотели взять.

– Поглядим, помозгуем. Ты что-то пал духом, Паша. Вошел в комнату одним, а сейчас другой. Неужто из-за меня? Плох так? Вернулась Лена, неся на подносе тарелки с закуской. Павел перенял у нее поднос, радуясь, что можно отвести глаза от спрашивающих, мудро-зорких глаз больного.

– Лена, может, и вы с нами? – Павел протянул ей свою рюмку.

– Я не пью! – отпрянула от рюмки сестра.

– Она у нас девица скромная, – сказал Петр Григорьевич.

– Вся беда от водки.

Павел вгляделся: оказывается, она была еще совсем молодая, ну, лет тридцать. И что-то даже миловидное было в ее лице, сжавшемся, наперед приготовившемся к морщинам.

– Мужика бы тебе, Лена, балагура, пьяницу, рукося, – сказал

Петр Григорьевич. – Расцвела бы. Павел, займись. Хочешь, сосватаю? На старости лет будет кому уколы делать.

– Я на вас сердиться не могу, Петр Григорьевич, – обидчиво распрямилась сестра.

– Потому что больной?

– Потому что выздоравливающий. – Явная ложь смутила ее. – Как я надеюсь...

– Спасибо. Солгала, но спасибо.

– Я на вас сердиться не могу, а на вас сержусь, Павел. Простите, что без отчества. Нас не познакомили. Сержусь. Больной устал. В больнице бы вас к нему на три минутки допустили. И никаких коньяков.

– Сергеевич он по бабушке, – сказал Петр Григорьевич. – Потому я из вашей больницы и сбежал, что там и не лечат, и свободы нет.

– Сбежали, потому что могли себе позволить. Самоуверенности в вас много.

– Избывает, Лена, избывает. Уж и не знаю, чего там во мне много, осталось ли что.

– Человек вы большой силы, Петр Григорьевич, – уважительно сказала Лена. – Я потому от вас все и терплю, что сильный вы человек.

– Добрая душа, спасибо. Вот, Паша, ты появился, и Лену не узнать. Живое к живому тянется. Ленок, взгляни на его руки, на шрамы эти. Знаешь, кто он? Змеелов! Скажи, любят бабы такие руки, таких мужиков прокаленных?

Лена серьезно, внимательно оглядела Павла, как, наверное, осматривала больных, слагая о них первое впечатление.

– Отчаянные, может, и любят, – сказала она и быстро вышла из комнаты, спеша на раздавшийся певучий звонок.

– Профессор по мою душу, – сказал Петр Григорьевич. – Паш, ты погляди на него, сложи свое мнение. Не жаль тех денег, жаль шарлатану себя вверять. Эх, подняться бы, подняться бы!

А там, в коридоре, уже властвовал уверенный, благонадежный, раскатистый бас. Там, за дверью, начинался ритуал, священнодействие, предшествующее вхождению врача к больному. Там в ванной руки мылись под громко пущенной струей, там некие

отпускались шуточки, когда сестра протягивала крахмальное полотенце, там тысячи раз повторенное в кинофильмах, а все же сохранившееся и в жизни совершалось профессорское это потирание ладони о ладонь и проборматывалось профессорское это, заштампованнейшее «ну-с!».

Театральным жестом широко распахнули дверь, и в комнату вступил профессор – тот самый, ожидаемый. Он был высок, тучноват, румян, седовато лыс, у него были жизнелюбивые, сочные губы. Из-под крахмального коротковатого халата выпирал, бахвалясь, добротный костюм. Уверенность, осведомленность, благонадежность вступили в комнату.

Павлу было велено сложить свое мнение о профессоре, и он принялся его разглядывать, хотя все сразу угляделось, по поверхности этот человек себя отработал наилучшим образом. Стереотип благонадежности – как раз то самое, что необходимо больным и еще больше родственникам больных, чтобы уверовать во всемогущество врача.

– О, коньяк! – жизнелюбиво пробасил профессор. – Отлично! Убрать с глаз долой! Елена Андреевна, вы, я надеюсь, не забыли своих обязанностей?

– Помню. – Еще больше ужалось ее молодое, к старости склонявшееся лицо. Павлу показалось, что она отозвалась и без почтения, и без трепета, но заскучала.

– Вы – кто? – услышал Павел. – Родственник? Визитер? Не дела ли принялись обсуждать? Приезжий?

– Визитер, – сказал Павел.

– Друг, приехал вот из Кара-Калы, – сказал Петр Григорьевич. Представляете, змеелов.

– Отлично, отлично. Прошу вас оставить нас, уважаемый товарищ змеелов. Елена Андреевна, проводите товарища со всем этим припасом в соседнюю комнату. – Профессор повернулся к Павлу спиной, загородил собой больного. Ну-с, дорогой наш Петр Григорьевич, займемся-ка делом.

Павел вышел следом за Леной в коридор. Она плотно прикрыла дверь, устало приткнулась плечом к косяку.

– Какое дело? – шепнули ее губы. – Погибает человек...

3.

В узкой комнате, во всю длину которой разместился мощный, загадочный, похожий на уссурийского тигра мотоцикл фирмы «BSA», прошла первая ночь Павла Шорохова в Москве. Мотоцикл живым представлялся существом, хотя давно застыл на деревянных креплениях и, пожалуй, изверился, что его хозяин когда-нибудь сядет в седло и рванет бесстрашно, как это только он умел, смел. От машины живой приструивался запах, теплый, не машинный. Еще, казалось, не остыло тепло рук Петра Григорьевича, собравших своего тигра, вдохнувших в ...

(Продолжение)... »

Л.В.Карелин. Powestler